

Александр Куприн

Сашка и Яшка



Александр Куприн

Сашка и Яшка

«Public Domain»

1918

Куприн А. И.

Сашка и Яшка / А. И. Куприн — «Public Domain», 1918

«Ника – известная непоседа. Ника – егоза и стрекоза. Ника скачет, как коза брынская. Все ей надо знать, во все сунуть свой розовый нос, особенно куда не надо. В одну минуту она задает двадцать пять вопросов и сама их разрешает с непостижимой быстротой...»

Александр Иванович Куприн

Сашка и Яшка

Про прошлое

I

Ника – известная непоседа. Ника – егоза и стрекоза. Ника скачет, как коза брынская. Все ей надо знать, во все сунуть свой розовый нос, особенно куда не надо. В одну минуту она задает двадцать пять вопросов и сама их разрешает с непостижимой быстротой.

Нике нет еще и десяти лет, а она уже дважды летала на аэроплане и потому на подруг смотрит с высоты шестисот метров.

– И даже совсем, ни капельки не страшно, – говорит она, – а только ужасно приятно. Точно катишься на бесшумном автомобиле по асфальту. А внизу все: дома, лошади, паровозы, деревья как игрушки для самых маленьких детей.

Ника из семьи военных летчиков Прокофьевых. Ее отец – известный инструктор; его специальность – тяжелые боевые аппараты. С огромного «фармана» в 30 он сбрасывал бомбы на немцев.

Брат Жоржик знаменит на всех аэродромах как виртуоз по высшему фигурному пилотажу: ему нет равного в изяществе и законченности петель, скольжении и штопоров. Все системы летательных машин он попробовал на личном опыте.

Другой брат, Александр (Ника его зовет просто и непочтительно – Сашкой), военноморской летчик. Он перегнал отца по службе и, в шутку, подтягивает его. За ним числится несколько сбитых германских машин. Он старший лейтенант, рукоятка его кортика украшена георгиевским темляком, а за последние подвиги при обороне Эзеля он непременно получит и Георгиевский офицерский крест.

Ника по праву гордится своими тремя авиаторами. Даже плюшевая, потертая Никина обезьянка Яшка совершила множество полетов в самой боевой обстановке, укрепленная на гаргроте Сашкиного аэроплана.

Ника шурит блестящие голубые глаза, встряхивает по-мальчишески головой и отбрасывает рукой лезущие на нос короткие волосы.

– Вот вы мне вчера про собак, про гусей и про кошек... Хотите, я вам расскажу про Сашку и про Яшку? Только уговор: если что-нибудь ошибусь, не сердиться.

– Пожалуйста, Ника, пожалуйста.

Рассказ ее прекрасен. Он жив, ярок, меток и весь в движении. Но, к сожалению, его мог бы запечатлеть только граммофон, приставленный приемником к самому рту Ники, хотя и этот способ мне кажется неудобным, потому что Ника во время рассказа вертится во все стороны. От торопливости у нее вскакивают на губах и лопаются пузыри. Она выпускает одновременно множество слов, которые несутся из ее рта стремительно и без всякого порядка, так что порою кажется, будто шестнадцатое по счету слово доходит до вас раньше четвертого.

Если ее поправить в какой-нибудь технической ошибке, она – ничего, не обижается. Она охотно распишется в незнании, примет на бегу поправку и уже быстро скользит дальше, как на коньках. По этой причине я предлагаю ее рассказ в изложении, проверенном и подкрепленном сторонними справками, давая самой Нике место лишь в известных, необходимых случаях.

II

В середине осени отряд Эзельских боевых гидропланов получил телефонное сообщение о том, что в бухте Лео замечены три германские подводки. Известие это пришло к раннему вечеру, когда уже начинало слегка темнеть. В этот момент находился в полной готовности один только аппарат, именно мичмана Прокофьева, Никиного Сашки, и потому мичман, не теряя ни секунды на праздные размышления, лишние слова, взобрался на свое место в гидроплане, посадил рядом с собою отважного механика Блинова с двумя полупудовыми бомбами и, быстро поднявшись кверху, полетел в хорошо знакомом направлении.

Они безошибочно и очень скоро долетели до бухты Лео, обшарили ее самым тщательным образом, но никакого следа субмарин не оказалось. Пришлось попусту возвращаться назад, к великому неудовольствию Блинова, у которого бомба чесалась в руках.

Гидроплан приблизился к своей стоянке. Уже открылся Церельский маяк. Огонь сигнального костра, нарочно разведенного на берегу, увеличивался с каждой секундой. Около него стали заметны маленькие, черные, копошащиеся фигуры полей.

Мичман Прокофьев управлял аппаратом одною рукою, а другую выставил за борт гондолы и нажимал пальцем кнопку электрического фонаря, давая знать о своем возвращении. С необычайной ловкостью удалось ему, остро снизив гидроплан, спуститься на воду. Блинов даже заметил, что «так хорошо, пожалуй, и днем не сядем». И вдруг случилась катастрофа. Одна из бомб взорвалась.

Судить о причине этого взрыва можно только предположительно. Вероятнее всего следующее: еще не достигнув бухты Лео, Блинов, охваченный нетерпением, начал вывинчивать в одной из бомб предохранитель и, вывинтив, держал эту бомбу в руках, готовый бросить ее по первому знаку, между тем как другая бомба лежала между его ступнями на дне гондолы. Когда, после напрасных поисков, гидроплан возвращался домой, механик вспомнил о предохранителе и стал его водворять на прежнее место, зажав бомбу коленями. Бомба имела грушевидную форму. Очевидно, она как-нибудь скользнула и упала на другую бомбу. Замечательно, что эта вторая бомба не взорвалась от детонации. Гидроплан был весь исковеркан. Блинова разорвало буквально на куски. Мичман спасся каким-то чудом.

III

Прокофьев рассказывал потом, что в этот момент он не слышал взрыва и не видел пламенного столба. Он только почувствовал, что какая-то дьявольская сила выхватила его из сиденья, взметнула на воздухе и швырнула в море. Ему удалось выбраться на поверхность с большим трудом. Долго мичман не мог отдышаться и все отплевывал горькую воду, наполнившую ему рот, горло, нос. Инстинктивно он ухватился за какой-то плававший обломок разрушенного крыла...

Он вынырнул спиною к костру и не сразу сообразил это. Всего лишь пять минут назад перед его глазами горели знакомые огни, все приближаясь и вырастая, – теперь же ничего не было, кроме черного, зловещего, вздыбленного моря, плеска мрачных волн и полного одиночества. И он крикнул к темному беззвездному небу:

– Господи! Как ужасно!

Потом он несколько раз взывал в пустое безбрежное пространство:

– Помогите! Помогите!

Но силы покидали его, голос хрипнул и слабел. Он не мог себе представить, что произошло с аппаратом. Не наскочили ли они на камень? И куда девался Блинов? И где же, наконец, огни маяка и костра?

Потом его поразило то, что он совсем не чувствует правой ногой свою левую ногу, как ни старается к ней прикоснуться. Но вскоре он случайно нащупал ее рукою. Она всплыла вся изуродованная, переломанная и болталась почти на поверхности, вслед за движением тела, колеблемого волнами. И в ту секунду он услышал торопливое пыхтение подходящего катера. Это был миг яркого сознания и глубокой радости. Вслед за ним наступил упадок и сонное оцепенение.

Прокофьев почти не сознавал, что с ним было дальше: как его вытаскивали из воды в катер, как довели до берега, как делали первую перевязку и как везли восемьдесят верст до Аренсбурга в автомобиле, доверху набитом сеном.

Смутно он помнил, что где-то какой-то врач, при свете лампы, обстригал ему ножницами обнаженные, торчащие наружу из разорванного мяса косточки отрезанных на ноге пальцев и спрашивал: «Не больно ли?» А он отвечал, стиснув зубы: «Нет, не больно, но кончайте, кончайте скорее...»

Из Аренсбурга его отправили на пароходе в Ревель, а оттуда дали знать по телеграфу отцу, в Петербург.

– Папа сидел на диване, а мама сидела тут же рядом, – рассказывает Ника. – Вдруг принесли телеграмму. Папа распечатал, прочитал и схватился за затылок. Протянул ее маме: «Вот, прочти. Нога сломана в двух местах. Оторвана ступня... Надо ехать в Ревель».

Они поехали втроем.

Из игрушек Нике позволили взять с собой только одну, самую любимую, с которой ей расстаться было уж никак невозможно: обезьянку, мохнатую, плюшевую, с премилой выразительной мордочкой.

– Может быть, она немного развлечет Сашу, – сказала Ника, укутывая обезьянку одеяльцем.

IV

Мичману Прокофьеву было, пожалуй, не до развлечений. Длинный и неудобный путь, большая потеря крови, мучительные перевязки, бессонница – все это истомило и обессилило его.

– Был он такой худой, худой и бледный, бледный, как мертвец, – тонким жалобным голоском говорит Ника, – а губы были белые-пребелые.

Глядя на него, отец не мог удержать слез. Заплакал и сам мичман, прошептав еле слышно:

– Неужели мне больше не летать?..

Подумать только: он жалел не о своей молодости, полной всяческих прелестей и великих надежд, прекрасной жизни, не о грозившем ему ужасе непоправимого калечества... Нет, точно каменная плита, угнетала его одна лишь мысль о том, что судьба отняла у него не выразимую словами радость смелых взлетов вверх, сквозь облака, в чистую лазурь, к сияющему солнцу, когда победный рокот мотора сливается с гордым биением сердца.

Да, в этих слезах вылилась настоящая свободная душа человека-птицы!

Но, как ни странно, плюшевая обезьянка Яшка в самом деле развлекла Прокофьева и вызвала на его бледные губы улыбку, когда он, усадив ее к себе на грудь, погладил нежную шерстку и уморительную мордочку. В нем, разбитом, обескровленном, хранился скрытый глубоко внутри большой запас крепкой, цепкой, неистощимой энергии жизни.

– Когда мы собрались уходить, Сашка пристал ко мне: «Оставь, пожалуйста, Никишка, обезьянку у меня ночевать. Ну, что тебе стоит?» Мне, конечно, было жалко, но он так просил, что я не могла отказать и оставила. А на другой день опять выпросил. А потом еще и еще. Такой попрошайка. Говорит: «Если бы ты знала, Ника, какой Яшка милый. По ночам мне не спится, все болит, а он сидит со мною рядышком и утешает меня, уговаривает потерпеть. Оставь мне

его еще на денек». Так Яшка к нему и совсем привык, и остался у него навсегда, и домой не хотел после ехать. Ходил с Сашкой на перевязки и даже на операции.

Мичману отняли ногу немного пониже колена. Доктор не ручался за исход операции – больной был чересчур слаб. Но стойкая, живучая натура вынесла. После операции, сделанной в Кронштадте, Прокофьева перевезли в Петербург, в лазарет адмирала Григоровича, где он стал с каждым днем быстро и заметно поправляться.

Там, совсем для него неожиданно, в палату к нему привезли и положили приятного соседа – родного брата Жоржика. Так же, как и месяц назад, получил отец летчика телеграмму с гатчинского аэродрома:

«Подпоручик Георгий Прокофьев упал; перелом обеих ног».

И теперь уже пришлось отцу, матери и Нике ехать зараз к двум больным.

– Жоржик был скучный, все нянчил свою закутанную ногу, – говорит Ника. – А Сашка ничего – точно это и не ему ногу отрезали. Смеялся и пел под гитару веселые стишки. Свои собственные, на мотив «Маргариты».

А Прокофьев о ноге не тужит,
С деревяшкой родине послужит...

А между кроватями, очень важно, сидел на стуле Яшка. Преважный. Меня он и не узнал даже. У него тоже одна нога была забинтована. Так, за компанию с Сашкой и Жоржиком.

V

Мичману Прокофьеву сделали искусственную ногу. В долгие дни, пока к ней приучался, все его мысли и разговоры (а вероятно, и сны и молитвы) были сплошь полны тревожным вопросом: сможет ли он послужить родине с деревяшкой или не сможет? Оказалось, смог.

Надо только представить себе его буйную радость, когда ранним свежим июньским утром он отделился от земли и свободно поплыл ввысь, и аэроплан, как и прежде, с чуткой готовностью был послушен тонким движениям его пальцев, а рыже-бурый Яшка, прикрепленный к гаргроту на носу лодки, надменно глядел в небо, растопырив руки и ноги и вызывающе завернув голову вбок и назад. «Знай наших!»

С той поры Никин Сашка и храбрая обезьянка Яшка стали неразлучны. Надо сказать, что у большинства летунов есть свои талисманы, фетиши и амулеты. Французские авиаторы, например, носят на цепочке серебряные или золотые жетончики с изображением пророка Елисея. Другие хранят у себя на груди ладанку, в которую зашит псалом девяностый «Живый в помощи вышняго».

У капитана Казакова, сбившего шестнадцать немецких аппаратов, всегда был укреплен на носу гондолы образ Николая-чудотворца. Иные не расстаются в полетах с фетишами, вроде плюшевых мишек, мопсов и слонов.

Мичман Прокофьев вдвойне дорожил Яшкой: как амулетом и как памятью о козе-егозе-стрекозе, о быстроногой, востроглазой, розовоносой Нике. Он, как и все летающие воины, бросал бомбы, производил разведки, вступал в воздушный бой с немецкими аэропланами, и Яшка на своем месте взирал в лицо смерти с наглым, вызывающим высокомерием.

Так-то они вдвоем раз и приняли участие в воздушном бое, который длился около двух часов. Один из четырех сбитых вражеских аэропланов был снижен Прокофьевым вместе с лейтенантом Дитериксом и остался спорным. Но слава победы над другим досталась ему целиком. После долгих воздушных хитростей Прокофьев зашел в хвост мощному немецкому «альбатросу» и, приблизившись к нему на жутко близкое расстояние, стал буквально поливать его из пулемета.

Мичман ясно видел (и никогда этого зрелища потом не забыл), как германский летчик судорожно возился над своим пулеметом, но пулемет, что называется, «заело», и он ничем не мог заставить его вновь работать. Мотор немца начал заикаться перебоями, аппарат накрепился и стал снижаться. Вспыхнул огонь. Прокофьев видел, как немец сначала с отчаянием схватился за голову, а потом повернул к русскому летчику искаженное яростью, багровое лицо, бешено затряс над головою огромными кулаками и выкрикнул, страшно выкатив глаза, злобное ругательство. И вместе с пылающим аэропланом полетел, кувыркаясь, вниз, с высоты двух тысяч метров, и упал в море.

VI

Вернувшись на стоянку, Никин Сашка, легко раненный в руку, пересчитал пробоины в своем аппарате. Их оказалось, шрапнельных и пулеметных, около тридцати. На его счастье, ни одна пуля и ни один осколок не угодили в более жизненные места летающей лодки.

Прокофьев за этот бой получил чин лейтенанта и золотое оружие. А Ника говорит с гордостью:

– Мой Сашка и мой Яшка, оба получили по «Георгию». У Сашки белый крест на кортике, а у Яшки георгиевская медаль на груди. Так и в приказе было написано.

– Полно, Ника. Неужели в приказе?

– Ну, я не знаю, наверное. Но, во всяком случае, оба имеют по «Георгию». Впрочем, поглядите сами...

Она лезет в самую свою сокровенную шкатулочку и достает оттуда раскрашенную фотографию. Действительно, с карточки смотрит открытое худошавое лицо двадцатидвухлетнего лейтенанта Прокофьева, у которого рука в косынке. И тут же развалился плюшевый, потрепанный боями, немного удивленный, но не потерявший высокомерия, растарашенный Яшка. У него рука забинтована, а на груди в самом деле красуется огромная картонная золоченая медаль на полосатой ленточке.

– Правда твоя, Ника, правда. Прости. Когда у Сашки нога была в повязке, была и у Яшки нога забинтована. А также и руки. И когда Сашку поливали пулеметным огнем, поливали и Яшку. И если, у Сашки теперь золотое оружие, как же и Яшке не щеголять с черно-оранжевой ленточкой?

Вот Никин рассказ и окончен. Остается прибавить, что одноногий лейтенант Прокофьев успел сбить еще два германских аэроплана в Моонзундском наступлении. Он был свидетелем того, как немцы бомбардировали Церельские укрепления четырнадцатидюймовыми снарядами. Когда от своего начальства он получил приказание улететь с отрядом истребителей в Ревель, то церельские артиллеристы взмолились:

– Оставайтесь, пожалуйста, лейтенант. Он без вас совсем нас заклюет.

Прокофьев ответил:

– Я прежде всего солдат и слепо повинуюсь приказанию. Снесите по радио.

Они снесли и получили такой ответ:

«Лейтенант может остаться, но это зависит только от его желания».

Он остался, и оставался до тех пор, пока ангары и жилые двухэтажные постройки на аэродроме не превратились в жалкие кучи мусора под действием чудовищных немецких семидесятипудовых снарядов. Тогда лишь он приказал своему отряду сняться и лететь в Ревель, а сам улетел последним, попав в перекрестный огонь, в котором был контужен.

Германцы хорошо его знали. Их пленники-летчики с почтением произносили его имя и называли имена аппаратов, которые он снизил. Конечно, они слышали и о Яшке. Да, впрочем, у каждого из них был свой фетиш.

Все это я вспомнил, рассматривая на днях давнишние фотографии. Десять – двенадцать лет прошло от того времени, а кажется – сто или двести. Кажется, никогда этого и не было: ни славной армии, ни чудесных солдат, ни офицеров-героев, ни милой, беспечной, уютной, доброй русской жизни... Был сон... Листики старого альбома дрожат в моей руке, когда я их переворачиваю...